

Тот, кто стучит

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

СЕРГЕЙ РЖАВИН

18+

Сергей Ржавин
Тот, кто стучит

«Автор»

2026

Ржавин С.

Тот, кто стучит / С. Ржавин — «Автор», 2026

Савельев К. А., 34 года. Поступил 12.12 с нарушением сна. Продуктивной симптоматики не выявлено. 19.12. Замечен стучащим по батарее. 24.12. Передвигается спиной вперёд. Прячет пищу в матрас. 28.12. Ночью разговаривает с платяным шкафом. Отвечает двумя голосами. 01.01. Палата 9 пуста. Четверо пациентов исчезли в новогоднюю ночь в тридцатиградусный мороз. Единственная улика — тетрадь под матрасом, исписанная желаниями. Все желания сбылись.

© Ржавин С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Приём	5
Глава 1. Костёр	5
Глава 2. Сосновка	14
Глава 3. Директор	24
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Сергей Ржавин

Тот, кто стучит

Часть первая. Приём

Глава 1. Костёр

Наст держал не везде.

Первые шаги он проходил поверху, как по фанере, брошенной на грязь, а потом корка проламывалась, и нога уходила по колено в зернистый снег, сухой и колкий, словно сахар, пересыпанный стеклом. Снег набивался в ботинок, за отворот штанины, таял на щиколотке и сразу же снова твердел. Кирилл вытаскивал ногу, и наст хрустел вокруг неё — коротко, плотно, как ломают пальцами сухарь. Хруст уходил в лес и не возвращался.

Лес стоял сосновый, частый. Стволы внизу были чёрные, выше — рыжие, и всё, что выше, терялось в темноте, но темнота не была полной: снег светился сам, тускло и ровно, как светится бумага в комнате, где выключили лампу. Неба Кирилл не видел. Он не помнил, видел ли его когда-нибудь в этом лесу.

Он шёл на запах. Запах был мокрой золы — тот особенный, кислый и тяжёлый дух, какой бывает наутро от залитого костра, когда угли уже не дымят, а только сочатся серой водой. Здесь этой воде полагалось замёрзнуть, мороз стоял такой, что внутри носа слипались волоски, а запах всё равно шёл, будто зола была где-то совсем рядом и ещё тёплая.

Кирилл считал шаги. Сорок один. Сорок два. На сорок третьем нога провалилась глубже, до бедра, и он упал вперёд на руки, и руки ушли в снег по локоть. Снег под коркой оказался не холодным — никаким. Как вата. Он выдернул руки, и на рукавах куртки остались белые муфты, и он долго обивал их одну о другую, и звук был такой, будто кто-то хлопает в ладоши в варежках.

Сорок четыре.

Поляна открылась сразу, без опушки, без подлеска: стволы расступились, и он стоял на краю ровного круга. В середине круга чернело кострище.

Костёр был давно мёртвый. Обугленные концы веток торчали из середины, как пальцы из кулака. Пепел лежал горкой, серой, сухой сверху, и только у самой земли блестела корочка — та самая вода, замёрзшая стеклом. Вокруг костра, на равном расстоянии друг от друга, как цифры на циферблате, если бы на циферблате было всего четыре цифры, сидели люди.

Их было четверо. Они сидели на снегу, подтянув колени, и снег под ними не подтаивал. Иней покрывал их ровно и густо, как покрывает он к утру траву: каждый волосок, каждую складку ткани, ресницы, ноздри, губы. Иней сделал их одинаковыми. Кирилл не мог разобрать, во что они одеты, какие у них лица, сколько им лет. Он видел только белое, мохнатое, неподвижное — и под белым угадывалась форма, человеческая и неправильная одновременно, потому что живой человек так долго не сидит.

Он не подходил. Он знал, что не надо подходить, и знал, что подойдёт, — не потому, что захочет, а потому, что так устроено. Сон всегда был устроен одинаково. Ноги сделали шаг. Наст хрустнул.

Ближняя к нему фигура сидела спиной. Шея у неё была длинная, тонкая, и на шее иней лежал кольцами, как на ветке. Кирилл остановился в трёх шагах. Отсюда было видно, что одна рука фигуры лежит на колене ладонью вверх и в ладони собрался снег — горсточка, ровная, нетронутая, как в чашке.

Он считал: раз. Два. На «три» раздался звук.

Звук был тонкий и сухой. Так трещит лёд на луже, когда на него наступают каблуком, только медленнее — трещина ползёт, не спеша, и каждый её миллиметр слышен отдельно. Иней на шее фигуры пошёл мелкими разломами. Кольца лопались одно за другим. Голова поворачивалась.

Она поворачивалась к нему через плечо, не трогая плеч, — так не поворачивается ни одна живая голова. С неё сыпалось белое: на воротник, на спину, на снег, крошками. Кирилл видел ухо, белое, круглое, видел скулу, белую, гладкую, видел, как с ресниц срывается иней и висит секунду в воздухе. Треск не прекращался, он шёл теперь откуда-то изнутри, из горла, хрусткий и мелкий, — так хрустят суставы у старика, который долго сидел, а теперь встаёт.

Лицо почти повернулось. Ещё немного — и он увидел бы глаза.

Кирилл закричал.

Он закричал во сне, и крик вышел из горла наружу, в комнату, в темноту, — хриплый, сорванный, будто рот у него был набит снегом. Он сел в кровати. Одеяло было мокрое насквозь, рубашка прилипла к лопаткам, и первое, что он почувствовал, был холод: в спальне было тепло, батарея шпарила так, что Ольга с осени спала с открытой форточкой, а он трясся, и зубы постукивали, и стук отдавался в висках.

Он поднял к лицу руку с часами. Зелёные стрелки светились в темноте. Три сорок.

Всегда три сорок.

Рядом шевельнулась Ольга. Он подождал, что она скажет что-нибудь — «опять?», или «тише», или хотя бы вздохнёт. Она не сказала ничего. Матрас качнулся, одеяло потянулось на её сторону, и Ольга легла к нему спиной, поджав колени, — он слышал, как прошуршала по наволочке её щека, когда она отвернулась.

Кирилл сидел и смотрел в темноту, туда, где стоял шкаф. Шкаф был обычный, светлый, из «Икеи», они собирали его втроём с её братом два года назад, и Кирилл тогда пересчитал все шурупы в пакете, и одного не хватило, и он съездил за ним на другой конец города. Сейчас шкаф был просто тёмным прямоугольником. Ничего в нём не было, кроме её платьев и его рубашек. Кирилл знал это и всё равно смотрел.

Потом он встал, на ощупь нашёл тапки — левый, правый — и пошёл на кухню, считая шаги. Семь до двери. Четыре по коридору. Три до раковины. Он налил воды из-под крана, выпил стакан, налил ещё. Вода пахла хлоркой и железом. Он стоял у окна и смотрел, как во дворе под фонарём крутится снег, мелкий, сухой, такой, который не ложится, а только перекачивается по наледи, как песок.

Он не ложился до шести. В шесть пошёл в душ и стоял под горячей водой, пока не покраснела кожа, но под кожей, где-то у костей, было по-прежнему холодно — так холодно бывает, когда долго сидишь на остановке в мороз и уже не понимаешь, мёрзнешь ты или нет.

* * *

На кухне Ольга пила кофе стоя и смотрела в телефон. Она уже была одета для работы — серая юбка, белая блузка, волосы собраны, — и от этого казалось, что она здесь не живёт, а зашла на минуту по делу.

— Я тебе сделала, — сказала она, не поднимая глаз, и подбородком показала на вторую чашку.

— Спасибо.

Кофе был уже чуть тёплый. Он пил и смотрел на неё — на то, как она пролистывает новости большим пальцем, быстро, не читая. Шесть лет. В мае будет семь. Когда-то она смеялась, что он считает даже её веснушки, — у неё их было девятнадцать на носу и щеках, он правда посчитал, — и ей это нравилось. Теперь она закрашивала их тональным кремом, и он не знал, сколько их осталось.

— Ты кричал, — сказала она.

— Знаю. Извини.

— Я не про «извини». — Она положила телефон на стол экраном вниз. — Кирилл. Это каждую ночь. Каждую. Я не помню, когда я последний раз спала до будильника.

— Я могу лечь в зале.

— Ты и так в зале через ночь. Я слышу из зала. — Она помолчала. — Ты видишь, на кого ты похож? Ты вообще в зеркало смотришь?

Он смотрел. Утром, бреясь, он видел лицо, которое было ему знакомо, но как-то по-соседски, как лицо человека, с которым много лет здороваешься в лифте. Скулы стали острее. Под глазами лежали не мешки даже, а тени, ровные, серые, будто их нарисовали карандашом и растёрли пальцем. Он похудел на семь килограммов с марта. Ремень пришлось проколоть шилом ещё на две дырки.

— Я схожу к неврологу, — сказал он.

— Ты ходил. К двум. Тебе прописали глицин и магний. Ты пил?

— Пил.

— И?

Он не ответил. Ольга взяла телефон, повертела его в руках и снова положила.

— Я опаздываю, — сказала она. — Вечером поговорим.

Она ушла, не поцеловав его, и он услышал, как она обувается в прихожей, как застёгивает молнию на сапоге — один, второй, — как щёлкает замок. Шесть щелчков, два оборота ключа на верхнем замке, один на нижнем. Он сидел и слушал, пока не стихли её шаги на лестнице. Двадцать ступенек на марш, пять этажей.

* * *

Контора «Стройсметпроекта» занимала половину третьего этажа в бывшем НИИ на Литейной. Здание было старое, с высокими потолками и широкими подоконниками, и зимой в нём всегда было то жарко, то холодно: батареи грели неровно, и в их отделе, в угловой комнате, по утрам стоял такой мороз, что Лида из соседнего стола работала в пуховом платке.

Кирилл любил свою работу за то, за что другие её не выносили. Смета — это мир, в котором всё можно сосчитать. Сколько кубов бетона уйдёт в фундамент, сколько кирпича в стену, сколько квадратных метров рубероида на кровлю, сколько часов работы экскаватора, сколько гвоздей. Любой дом, любой мост, любая школа сначала существовали здесь — в столбцах, в единичных расценках, в коэффициентах. Ошибка в смете всегда была видна, если знать, где искать. Цифра не лгала. Цифра могла быть неправильной, но не могла притворяться.

Сегодня у него был корпус детского сада в Заречном: тридцать семь листов, раздел «Отопление и вентиляция». Он сел, включил монитор, разложил на столе распечатки ведомостей, взял карандаш. Карандаш был мягкий, «2В», он точил их ножом, а не точилкой, потому что от ножа грифель выходил длиннее.

Трубы стальные водогазопроводные, диаметр двадцать. Сто сорок погонных метров. Диаметр двадцать пять. Восемьдесят шесть. Радиаторы чугунные, секционные, МС-140. Он открыл расценку, сверил, вбил число. Кран шаровой. Задвижка. Задвижка чугунная фланцевая, диаметр пятьдесят, четыре штуки.

Слово «задвижка» он прочитал три раза. Оно было какое-то тяжёлое, железное, с ржавым вкусом во рту, и он подумал — без всякой причины, — что у задвижки должно быть колесо, тугое, холодное, которое надо крутить двумя руками, упираясь ногами в пол. Он моргнул. Колонка цифр на экране немного поплыла и снова стала резкой.

Он вбил «4», нажал «ввод» и потёр переносицу двумя пальцами — так, как трут глаза, когда снимают очки, хотя очков он никогда не носил.

В комнате было тепло. Кто-то включил чайник. Лида говорила по телефону с дочерью: «Нет. Нет. Я сказала — нет, и на Новый год тоже нет». Батарея под окном тихонько потрескивала — так она трещала всегда, когда в неё шла горячая вода, будто внутри кто-то ходит

маленькими шагами. Кирилл подпёр голову рукой. Буквы в ведомости стояли ровно, столбиками, как деревья.

Как сосны.

Ведомость была сосновым лесом, если смотреть сверху, с большой высоты: столбцы — просеки, строки — тропинки между ними, и между тропинками белое, белое поле бумаги, и он шёл по нему, проваливаясь. Наст хрустнул. Кирилл почувствовал, как щёку ему стягивает холодом.

Он открыл глаза.

Он лежал щекой на распечатке. Это он понял сразу — по запаху бумаги, по краю листа, который врезался в кожу. Но лист был холодный. Не прохладный, как бывает бумага в нетопленной комнате, а холодный по-настоящему, как металлический подоконник зимой. Кирилл поднял голову, и щека отлипла от бумаги с тихим шелестом.

На листе, там, где лежало его лицо, был иней.

Он видел его отчётливо — тонкий, мохнатый, белый, он лежал на бумаге пятном, повторяя очертания его щеки, края губ, подбородка. Каждая крупинка поблёскивала под лампой. Иней рос из строчек, из напечатанных цифр, он пророс сквозь слова «Задвижка чугунная фланцевая», и буквы под ним казались вмёрзшими, как трава в лёд. В середине пятна, там, где был его рот, иней был гуще и складывался в узор, похожий на перо, — так зимой рисует на стёклах.

Кирилл смотрел на это, не двигаясь. Он не дышал — сначала потому, что забыл, а потом потому, что испугался: еслидохнуть, узор растает, и тогда он не будет знать, был он или не был. Пальцы правой руки лежали на краю стола, и он видел, как они медленно белеют на кончиках, как будто кровь отступала от них внутрь.

Батарея перестала трещать. В комнате стало тихо — не совсем тихо, Лида всё ещё говорила по телефону, но её голос звучал издалека, через вату, как голос соседей за стеной. Тихо было рядом с ним, вокруг стола. В этой тишине он услышал, как иней на листе потрескивает. Еле-еле. Так шуршат крупинки соли, если высыпать их на сковородку.

Он протянул палец. Он не хотел трогать, но палец двигался сам, медленно, как во сне двигались ноги к кострищу. Ноготь коснулся белого края пятна.

Иней был тёплым.

Кирилл отдернул руку. Стул под ним скрипнул, откатился, ударился спинкой о шкаф с документацией. Лида обернулась, прижимая телефон к плечу.

— Кирилл Андреич? Ты чего?

Он посмотрел на лист. Лист был влажный. На нём расплывалось мокрое пятно, серое, мутное, и цифры под ним поплыли: «4» превратилась в кривой крючок, «шт.» исчезло совсем. По краю пятна бумага вспучилась мелкими волнами. Ни одной крупинки белого. Просто мокрое. Слюна. Он заснул и напускал слюны на ведомость, как ребёнок на подушку.

— Ничего, — сказал он. — Задремал.

Лида смотрела на него ещё секунду, потом отвернулась. Он слышал, как она сказала в трубку: «Нет, это не тебе». Кирилл вытер щёку ладонью. Щека была горячая. Пальцы правой руки покалывало, как бывает, когда отлежишь руку и кровь возвращается толчками.

Он взял лист за уголок и поднёс к лампе. На просвет мокрое пятно было похоже на лицо. На лицо, повернутое через плечо.

* * *

Валерий Петрович Гусев вызвал его в половине четвёртого. Кабинет у него был маленький, заставленный папками до потолка, и сам Гусев, толстый, лысоватый, в вязаной безрукавке поверх рубашки, сидел среди этих папок как домовый в шкафу.

— Садись, Кирилл. — Он показал на стул. — Чаю?

— Спасибо, нет.

Гусев поглядел на него поверх очков, потом снял очки и положил на стол.

— Заречный детсад, — сказал он. — Отопление. Ты мне в девятом листе задвижек насчитал сорок.

— Четыре.

— Сорок. — Гусев развернул к нему монитор. — Вот. Сорок штук, диаметр пятьдесят. На детсад на восемьдесят мест. Сорок задвижек, Кирилл. Это как на ТЭЦ.

Кирилл смотрел на цифру. Сорок. Он помнил, как вбивал четвёрку. Он помнил это отчётливо, потому что как раз перед этим думал про колесо, которое надо крутить двумя руками. Потом нажал «ввод». Потом потёр переносицу. Потом...

Потом был лес.

— Я исправлю, — сказал он.

— Я уже исправил. — Гусев развернул монитор обратно. — И в одиннадцатом исправил, там ты радиаторы на два этажа посчитал, а этаж один. И в позапрошлой смете, по гаражам в Лесном, ты мне сдал, а Лида потом за тобой полдня сидела. Я тебе ничего не сказал. Я понимаю, у всех бывает.

— Валерий Петрович...

— Подожди. — Гусев поднял ладонь. — Я тебя двенадцать лет знаю. Ты у меня единственный, за кем не надо проверять. Был. Кирилл, ты себя видел? Ты зелёный. Ты спишь на работе, тебя Лида видела, я видел. Ты разговариваешь сам с собой.

— Я не разговариваю.

— Считаешь. Вслух. Идёшь по коридору и считаешь. «Тридцать один, тридцать два». Ребята уже шутят, я их одёргиваю, но они шутят.

Кирилл молчал. Он не знал, что считает вслух. Он думал, что считает про себя — всегда так думал.

— Иди домой, — сказал Гусев. — Не сегодня — сейчас иди. Возьми больничный. Возьми отпуск, у тебя за два года не отгулян. Хоть до Нового года, хоть до Старого Нового года, мне всё равно. Заречный я Лиде отдам.

— Мне не надо отпуск.

— А мне не надо сорок задвижек. — Гусев надел очки. — Это не просьба, Кирилл. Иди.

* * *

Он шёл к остановке пешком, хотя мог доехать на маршрутке до самого дома. Мороз к вечеру усилился, и снег под ногами пищал. Кирилл считал фонари. На проспекте Мира их было сорок шесть, он знал это точно, проверял много раз. Сегодня он насчитал сорок семь, вернулся, пересчитал, вышло сорок шесть, и он стоял под последним фонарём, пока не почувствовал, что перестаёт ощущать пальцы в ботинках.

Дома было пусто. Ольга возвращалась в семь. Он не включил свет, сел в прихожей на табуретку, не снимая куртки, и сидел. В темноте было слышно, как в батарее булькает вода, — длинно, с перерывами, будто кто-то пил через соломинку. Потом бульканье стихло, и Кирилл поймал себя на том, что ждёт, когда оно начнётся снова, и не дышит, и считает секунды. Двадцать. Тридцать. На сорок первой в трубе стукнуло — один раз, глухо, где-то этажом ниже, — и снова забулькало.

Он выдохнул и снял куртку.

* * *

Ольга пришла не в семь, а в половине девятого. Он услышал, как она вставляет ключ, и почему-то сразу понял, что разговор будет сегодня, а не завтра и не когда-нибудь. Она вошла в кухню, не переодевшись, и села напротив.

— Мне Гусев звонил, — сказала она.

— Тебе?

— Мне. Он нашёл мой телефон в твоей анкете, или я не знаю где. Он хороший человек, Кирилл. Он за тебя переживает. Он сказал, что ты спишь на работе и что ты... — Она запнулась. — Что ты на себя не похож.

— Я на себя похож.

— Не надо.

Она сняла шарф, сложила его на коленях. Шарф был красный, он подарил ей этот шарф на тридцатилетие, и она его носила до сих пор, хотя он уже сваялся по краям. Кирилл заметил это и не понял, что чувствует.

— Ты помнишь Светку с работы? — спросила Ольга. — У неё муж в прошлом году... Тоже не спал. Там другое было, там работа, начальник его довёл. Его положили в Сосновку. На три недели. Он вышел другим человеком, Кирилл. Он спит. Он нормальный.

— В Сосновку, — повторил он.

— Это обычная больница. Там есть отделение неврозов, там лежат с бессонницей, с депрессией, со всем. Там капельницы, там режим, там тихо. Светка говорит, там лес кругом, сосны, воздух. Ты просто выспишься. Полежишь недельку, тебе подберут лекарство, нормальное, не глицин. И всё.

— В психушку.

— В больницу. — Она подалась вперёд. — Кирилл. Я не прошу тебя ни о чём. Я ничего не прошу. Я просто хочу спать. Я хочу, чтобы ты спал. Я больше не могу просыпаться, и лежать, и ждать, когда ты закричишь. Я лежу и жду. Каждую ночь. Ты понимаешь? Ты кричишь в одно и то же время. Я уже просыпаюсь за минуту. Я лежу и смотрю на часы, и когда там три тридцать девять, у меня сердце начинает...

Она замолчала и отвернулась к окну. Кирилл смотрел на её профиль. Тональный крем на скуле лежал неровно, и сквозь него было видно одну веснушку, маленькую, у самого уха. Он не помнил её. Девятнадцать — он не помнил, чтобы среди тех девятнадцати была эта.

— Что тебе снится? — спросила Ольга, не поворачиваясь. — Ты ни разу не сказал. Полгода, больше. Ни разу.

Он открыл рот, чтобы сказать: «Лес», — и не сказал. Слово не выходило. Оно было как кусок снега во рту, который не тает и не глотаётся.

— Ерунда, — сказал он. — Не помню. Что-то тёмное.

— Ты врёшь.

— Оль.

— Ты врёшь, Кирилл. Ты всегда так врёшь. Ты говоришь «ерунда» и трёшь нос.

Он отдёргнул руку от переносицы. Он не заметил, что поднял её.

Ольга встала.

— Я уже договорилась, — сказала она. — Светка дала телефон врача. Приём в пятницу, в десять. Если врач скажет, что не надо, — не надо. Я тебя отвезу и привезу. Если надо — ты полежишь. Недельку. Две. Пожалуйста.

Она вышла из кухни, не дожидаясь ответа. Через минуту он услышал, как в ванной зашумела вода.

* * *

Ночью он не ложился вовсе. Сидел в зале, при включённом торшере, с книгой, которую не читал. В три часа он поднялся, прошёл на кухню, выпил воды. В три двадцать снова сел. В три тридцать пять он смотрел на часы не отрываясь, и секундная стрелка шла медленно, с усилием, как идут по глубокому снегу. Три тридцать девять. Три сорок.

Ничего не случилось.

Он сидел ещё долго, держа руку с часами перед глазами, и в какой-то момент понял, что почти задремал с открытыми глазами, — комната стала плоской, торшер светил из далёкого далека, а у края зрения, там, где дверь в коридор, что-то стояло. Высокое. Неподвижное. Он

не стал поворачивать голову. Он сказал себе: это вешалка. В коридоре вешалка, на ней его куртка и Ольгино пальто. Вешалка. Он сказал себе это три раза и на третий поверил, и тогда повернул голову.

Это была вешалка.

* * *

Ещё в среду, до Ольгиного прихода, пока он сидел в прихожей, позвонила мать.

Он увидел на экране «Мама» и долго смотрел на это слово, пока телефон гудел у него в руке, — пять гудков, шесть, — и только на седьмом ответил. Он всегда отвечал на седьмом. Он не знал почему.

— Кирюша, — сказала мать. Голос у неё был тонкий, осторожный, как будто она шла по скользкому. — Кирюша, ты как?

— Нормально, мам.

— Оля звонила. — Пауза. — Говорит, ты не спишь.

— Сплю.

— Говорит, кричишь.

Он молчал. В трубке было слышно, как у неё в квартире потрескивает печь, — она так и не провела газ, топила дровами, говорила: «С печкой теплее, чем с батареями, батареи — они мёртвые». Он слушал этот треск и представлял её кухню: фиалки на подоконнике, отрывной календарь на стене, валерьянка в шкафчике над раковиной.

— Кирюша, — сказала мать. — Ты бы приехал. На праздники. Мы бы... Я бы пирогов... — Она замолчала. Потом сказала другим голосом, тише, будто сама себе: — Скоро ведь шестое.

Он не ответил.

— Двадцать два года, — сказала мать. — Я на кладбище каждый год. Одна. Ты бы хоть раз...

— Мам, — сказал он. — У меня работа.

— Тебя Гусев отпустил. Оля сказала.

— Мам. Мне надо идти. Тут... Оля пришла.

Ольга не пришла. Ольга была на работе. Он стоял один в прихожей, в куртке, — он так и не снял куртку, — и смотрел на вешалку.

— Ну иди, — сказала мать. — Иди, Кирюша. Ты только... Ты только не сиди в темноте. Ладно? Свет включай. Ты в детстве всё в темноте сидел, после... — Она запнулась. — Включай свет.

— Ладно.

Он нажал отбой. Постоял. Потом посмотрел на телефон, на экран, на дату в углу: «10 декабря». И подумал о шестом. О том, что шестое — это через двадцать семь дней. Он не знал, почему посчитал. Он не знал, что такое шестое. Шестое — это просто число. Шестое января. Сочельник. Ничего.

Он включил свет в прихожей. Потом — в кухне. Потом — в зале. Во всех комнатах. И сел за отцовский стол, и сидел при полном свете, пока не пришла Ольга, и Ольга спросила: «Ты чего везде свет включил?» — а он сказал: «Темно».

В четверг он полдня собирал документы, которые просила Ольга: паспорт, полис, СНИЛС, выписку от невролога. Полис у него лежал в письменном столе в зале — в старом, ещё отцовском, тяжёлом, с тумбой и тремя ящиками, который они перевезли из Кочетово, когда умер отец. В верхнем ящике были ручки, скрепки, гарантийные талоны. Во втором — папки с бумагами, разложенные по годам. В третьем, нижнем, — то, что он сам называл «архивом»: старые чертежи, сметы, которые он когда-то брал домой доделать, черновики.

Полиса во втором ящике не оказалось. Он перебрал папки, пересчитал их — двенадцать, — проверил каждую. Полиса не было. Он выдвинул нижний ящик.

Сверху лежала стопка смет, прошлогодних, перевязанная бечёвкой. Под ней — рулон кальки. Под ней — картонная папка без надписи, серая, с завязками. Он не помнил этой папки. Он помнил всё, что лежало в этом столе, потому что сам всё туда клал и сам всё раскладывал, а этой папки — не помнил.

Он развязал завязки.

Внутри лежал один лист. Обычный, А4, из пачки для принтера. На нём карандашом был нарисован лес.

Нарисован хорошо — лучше, чем Кирилл умел рисовать. Он вообще не умел: в школе по рисованию у него была тройка, и дома, в детстве, рисовал всегда Митя...

Мысль оборвалась, не начавшись. Он не позволил ей начаться. Он смотрел на рисунок.

Сосны стояли частоколом, тёмные внизу, светлые вверху. Карандаш был мягкий, «2В», это он видел по тому, как лёг грифель, — с блеском, с растушёванными краями, будто кто-то тёр штрих пальцем. Между соснами была поляна. На поляне — кострище, тщательно прорисованное: каждая головешка, каждая веточка, горка пепла. Вокруг кострища сидели четыре фигуры.

Они были нарисованы не так тщательно. Будто тот, кто рисовал, не решался их рисовать. Четыре сгорбленных силуэта, колени подтянуты к груди, головы опущены. Они были штрихованы очень густо, почти до черноты, а потом поверх черноты кто-то прошёлся ластиком — мелкими, частыми касаниями, — и черное стало серым, мохнатым, неровным. Иней. Ластиком был нарисован иней.

У одной фигуры, ближней, голова была повернута через плечо. Лица не было. Там, где лицо, бумага была протёрта ластиком почти насквозь — до серой, ворсистой, тонкой, как папиросная, плёнки.

В правом нижнем углу стояла дата. Его почерком. Его цифрами — он узнал свою семёрку, перечёркнутую посередине, как его научил писать отец, и свою четвёрку с открытым верхом. «14.03».

Март. Четырнадцатое марта. Кошмар начался в марте — он помнил, что весной, после Восьмого марта, он помнил это потому, что на праздник они с Ольгой ходили в ресторан и он в первый раз за много лет напился, а через неделю...

Через неделю.

Кирилл сидел на полу у стола и держал лист обеими руками. Он не помнил, как рисовал это. Он не помнил серой папки. Он не помнил вечера четырнадцатого марта. Он пытался вспомнить — что было в тот день, пятница или суббота, был ли он дома, — и память отвечала ему ровно, вежливо, как справочная: не найдено.

В квартире было тихо. Под окном, в батарее, что-то стукнуло — один раз, глухо, и затихло. Кирилл ждал второго удара. Второго не было.

Он сложил лист вдвое, потом вчетверо. Сгиб прошёл через поляну, через кострище, разрезал пополам ближнюю фигуру с повернутой головой. Он убрал сложенный лист обратно в папку, завязал завязки, положил папку под рулон кальки, под стопку смет, задвинул ящик. Потом встал и пошёл на кухню. Сказал себе: «Я нашёл полис». Полис лежал в прихожей, в его сумке, он вспомнил это, пока шёл, — он ещё в понедельник положил его туда, чтобы сделать копию.

Ольге он про рисунок ничего не сказал.

* * *

В пятницу утром, двенадцатого декабря, было минус двадцать шесть. Машина не завелась с первого раза, и Ольга сидела за рулём, сжав губы, и поворачивала ключ, и стартер выл, как раненый. С третьего раза мотор схватил. Они ехали по пустому проспекту, потом по окружной, потом по трассе на север, где за городом сразу начинались сосны — чёрные внизу, рыжие вверху.

Кирилл смотрел в окно и считал километровые столбы. Восемнадцать до поворота на Сосновку.

На поворотной табличке кто-то снежком залепил половину слова, и было видно только «...СНОВКА». Он прочитал: «Снов-ка», и ему показалось, что это смешно, и он чуть не засмеялся, но посмотрел на Ольгу и не засмеялся.

Лес по обе стороны стоял густой, неподвижный, весь в инее. Иней на соснах был ровный, мохнатый, как на фигурах во сне, и ветки под ним сгибались, будто плечи. Машина шла медленно, колея была узкая, накатанная. На обочине, в снегу, торчал оранжевый столбик, и на секунду Кириллу почудилось, что это сидит человек в оранжевой куртке, подтянув колени, — но они проехали мимо, и это был столбик.

— Ты что-то сказал? — спросила Ольга.

— Нет.

— Ты сказал «сорок четыре».

Он посмотрел в окно. Сосны шли и шли.

— Это столбы, — сказал он. — Я считаю столбы.

Глава 2. Сосновка

Корпус стоял к дороге торцом, и сначала Кирилл увидел только стену — красный кирпич, почерневший у фундамента, и высоко, под самой крышей, белые цифры, выложенные в кладке светлым кирпичом: «1912». Потом машина обогнула угол, и открылся фасад, длинный, в три этажа, с высокими узкими окнами, на каждом из которых стояла решётка. Решётки были старые, кованые, с завитками, и от этого казались не решётками, а украшением, как на купеческом особняке. Над крыльцом висел фонарь, и в фонаре горела лампа, хотя было уже светло.

Из трубы котельной, что торчала сбоку, из низкой пристройки, шёл дым — густой, жёлтый, тяжёлый, и мороз прибавал его к земле. Пахло углём.

— Красиво, — сказала Ольга неуверенно.

Кирилл посчитал окна на втором этаже. Двадцать два. На третьем — двадцать два. На первом — девятнадцать и дверь. Он посчитал решётки и вышло шестьдесят три, и это было правильно, и ему стало немного спокойнее.

Ольга заглушила мотор. Стало слышно, как тикает остывающий двигатель, а потом — откуда-то со стороны котельной — металлический звук, ровный, мерный: кто-то бил железом о железо. Тук-тук-тук. Тук. Пауза. Тук-тук-тук. Тук.

— Пошли, — сказала Ольга. — Холодно.

* * *

Приёмный покой был на первом этаже, у бокового входа, — вверх на семь ступенек от крыльца. Тамбур с двумя дверями, между ними — резиновый коврик, пахнувший мокрой резиной. За второй дверью начинался коридор, и запах ударил сразу, как удар в грудь: хлорка и варёная капуста. Хлорка была резкая, свежая — кто-то недавно мыл пол, на линолеуме ещё блестели разводы, — а капуста шла откуда-то из глубины здания, тяжёлая, сладковатая, с привкусом мокрой тряпки. Эти два запаха не смешивались. Они лежали слоями, как вода и масло: внизу, у пола, — хлорка, выше, на уровне лица, — капуста.

Вдоль стены стояли деревянные стулья, скреплённые в ряд, как в кинотеатре. На одном сидела женщина в пуховике и держала на коленях пакет с вещами. Рядом с ней, привалившись к стене, спал или притворялся, что спит, худой парень в спортивном костюме. У него на запястье белел больничный браслет. Женщина посмотрела на Кирилла и Ольгу, потом снова на пакет.

Они сели. Кирилл посчитал стулья: двенадцать. Посчитал плитки на полу от стула до двери кабинета: девять, и одна из них была отбита по углу.

На стене напротив висел портрет.

Он был большой, в тяжёлой золочёной раме, неуместный в этом коридоре, как люстра в гараже. Мужчина в белом халате поверх костюма, при галстукке, сидел в кресле, положив руку на стопку книг. Руки были написаны хорошо — крупные, с короткими пальцами, с обручальным кольцом. Галстук синий, в мелкую точку. Пуговицы на халате. А лица не было. Не было — потому что прямо над портретом, под потолком, горела лампа в железном колпаке, и свет от неё ложился на лак, и в том месте, где должно было быть лицо, лак отсвечивал белым, ровным, сплошным пятном. Блик лежал как раз от бровей до подбородка, будто его туда положили нарочно.

Кирилл сдвинулся на стуле влево. Блик сдвинулся вместе с ним. Он сдвинулся вправо — блик тоже. Под портретом была табличка, медная, начищенная: «Главный врач ОПБ №3 Наумов В. Г.»

— Ты чего ёрзаешь? — шепнула Ольга.

— Ничего.

Он встал, сделал два шага вперёд, к самому портрету, и задрал голову. Отсюда блик был ещё ярче. Он резал глаза. Под ним угадывался край уха, волосы, седые, зачёсанные назад, и всё.

Кирилл сделал шаг вбок — и лампа вспыхнула прямо в лицо, ослепив его, и он зажмурился, и под веками поплыло зелёное пятно.

— Бесполезно, — сказал кто-то сзади. — Его никто не видал. Как повесили, так и висит.

Он обернулся. Парень в спортивном костюме, тот, что спал, сидел теперь прямо и смотрел на него. Глаза у него были светлые, очень спокойные.

— В смысле — не видал? — спросил Кирилл.

— В прямом. Его в отпуске всё время. — Парень зевнул. — Он, говорят, вообще не главный. Главный — другой.

— Кирилл, — позвала Ольга.

Дверь кабинета открылась. Медсестра — полная, в голубом костюме, с журналом — выглянула в коридор:

— Савельев.

* * *

Врач оказалась молодой, моложе Ольги, — худая, с тёмными волосами, стянутыми в хвост, в белом халате, под которым виднелся серый свитер с высоким горлом. На бейджике было написано: «Гордеева Елена Андреевна. Врач-психиатр». Она сидела за столом, заваленным папками, и что-то писала, и не подняла головы, пока не дописала строчку. Потом подняла.

— Садитесь, — сказала она. — Вы — Кирилл Андреевич. А вы — жена?

— Да, — сказала Ольга. — Ольга.

— Ольга, вы посидите, пожалуйста, в коридоре пять минут. Я потом вас позову.

Ольга помедлила, но вышла. Дверь закрылась. Елена Андреевна посмотрела на Кирилла — внимательно, без улыбки, но и без той казённой пустоты, которую он видел у неврологов. Глаза у неё были усталые, красноватые по краям, будто она сама давно не спала.

— Рассказывайте, — сказала она.

— Что?

— Что хотите. С чего хотите. Почему вы здесь.

Он рассказал. Он старался говорить коротко и точно, как в пояснительной записке к смете. С марта. Каждую ночь. Просыпается в одно и то же время. Засыпает плохо, потом снова не может уснуть. Дневная сонливость. Снижение веса — семь килограммов. Снижение работоспособности. Невролог — глицин, магний. Без эффекта.

Она записывала. У неё был мелкий, ровный почерк, буквы стояли одна к одной, как в прописях.

— В какое время просыпаетесь?

— В три сорок.

— Точно в три сорок?

— Точно.

— Откуда вы знаете?

Он показал часы.

— Смотрю.

Она кивнула, будто это было ожидаемо.

— Что вам снится?

— Не помню.

— Совсем?

— Что-то тёмное. — Он помолчал. — Лес.

Он сам не понял, как это выговорилось. Слово, которое три дня назад не шло из горла при Ольге, здесь выскользнуло легко, будто его кто-то вынул у него изо рта.

— Лес, — повторила Елена Андреевна и записала. — Что-то происходит в лесу?

— Нет. Ничего. Просто лес.

— Вы один?

Он посмотрел на её руку с ручкой. Ручка была шариковая, синяя, с обгрызленным колпачком.

— Один, — сказал он.

Она задержала на нём взгляд, на полсекунды дольше, чем следовало, и снова опустила глаза к карте.

— Алкоголь?

— Нет. Почти нет.

— Наркотики? Травмы головы? Судороги?

— Нет.

— Мысли о смерти?

— Нет.

— О том, чтобы причинить себе вред?

— Нет.

— Голоса? Что-то, чего не видят другие?

Он подумал о листе с инеем. О вешалке в коридоре.

— Нет.

— В семье психиатрические заболевания были? Родители, братья, сёстры?

Пауза была короткой. Он её почти не заметил.

— Нет. Братьев и сестёр у меня нет.

Ручка остановилась на секунду, потом снова пошла по бумаге. Он видел, как она написала: «Сиблингов нет». И ещё что-то, чего он не разобрал.

— Хорошо, — сказала Елена Андреевна. — Кирилл Андреевич, я вам скажу как есть. Вам надо полежать. Ничего страшного я пока не вижу, но я вижу, что вы очень устали, — по-настоящему, глубоко. Нужно обследование, нужно подобрать терапию, нужно, чтобы вы под наблюдением выспались хотя бы несколько ночей. Две-три недели.

— Мне говорили про отделение неврозов.

— Санаторное. Да. — Она поморщилась. — Там с ноября ремонт, крыша потекла, закрыли до весны. Всё, что у нас есть до праздников, — это третье отделение. Общее мужское. Не пугайтесь, это не острое. Там спокойные люди, многие лежат давно. Я там веду. Я вас буду видеть каждый день.

— Общее, — повторил Кирилл.

— Это слово, — сказала она. — Просто слово. Вы же сметчик? Вот. В смете тоже есть «общестроительные работы», и это не значит, что там что-то страшное.

Она почти улыбнулась. Он почти улыбнулся в ответ.

— В диагнозе пока напишу: нарушение сна. — Она записала. — Остальное — по результатам. Сегодня никаких таблеток, понаблюдаем, как вы спите без них. Если не уснёте — не страшно. Просто полежите. Завтра начнём.

Она позвала Ольгу. Ольга подписала бумаги, не читая, и всё время теребила край красного шарфа. Потом пришла та же полная медсестра в голубом и сказала, что вещи надо сдать, что шнурки, ремень, бритву, зарядку, телефон — нельзя, что часы можно, если без стекла... Нет, со стеклом нельзя. Кирилл стоял и держал руку на запястье.

— Это отца, — сказал он.

Медсестра посмотрела на Елену Андреевну. Елена Андреевна кивнула:

— Пусть оставит.

Ольга обняла его в коридоре — быстро, неловко, будто не знала, куда девать руки. Её щека была холодная.

— Я в воскресенье приеду, — сказала она. — Там с четырёх.

— Хорошо.

— Ты спи, ладно? Просто спи.

Он смотрел, как она уходит по коридору, мимо стульев, мимо портрета с бликом, как спускается по семи ступенькам, как открывает тяжёлую дверь и впускает внутрь клуб белого пара. Дверь закрылась, пар осел. Женщина с пакетом всё так же сидела на стуле. Парень в спортивном костюме ушёл.

* * *

Санитар, который вёл его наверх, был крупный, широкоплечий, в синей форме, с короткой шеей и коротким ёжиком. Он шёл впереди и не оборачивался. Бейджика у него не было. От него пахло табаком и чем-то кислым.

На лестнице было сорок ступеней до второго этажа — не семнадцать, как Кирилл почему-то ожидал, а сорок, крутых, с выщербленными краями, — и на каждой площадке стояла пальма в кадке, одинаково пыльная. Перила были деревянные, отполированные руками до блеска, и под пальцами Кирилл чувствовал старые вмятины, как будто кто-то когда-то цеплялся за них очень сильно.

— Вам туда, — сказал санитар на площадке второго этажа и достал из кармана что-то металлическое, похожее на дверную ручку. Это и была дверная ручка, — съёмная, с квадратным стержнем, — он вставил её в отверстие в двери, на которой своей ручки не было, повернул, толкнул дверь плечом, вынул ручку и спрятал в карман. Всё это было сделано одним движением, привычным, как закуривают.

Дверь за ними захлопнулась. Кирилл оглянулся. С этой стороны на двери тоже не было ручки. Только квадратная дыра, тёмная, в которой поблёскивал металл.

— Гена, — сказал санитар, не оборачиваясь. — Если чё — Гена. Но лучше без «если чё».

Коридор третьего отделения был длинный и высокий. Свет давали белые плафоны под потолком, через один — остальные не горели. Стены выкрашены масляной краской до уровня плеча в зелёный, выше — побелены. Линолеум коричневый, в шашечку, местами протёртый до серой основы. Двери палат — по обе стороны, высокие, двустворчатые, с узкими стеклянными вставками, в которых стояло мутное матовое стекло. Посредине коридора, в нише, — пост: стол, лампа, шкафчик с замком, телефон, доска на стене, исписанная маркером. Над постом висели часы, круглые, в белой пластиковой раме, и стрелки у них были чёрные, жирные. Десять минут первого.

Кирилл считал шаги. От двери до поста — тридцать один. Гена шёл быстро, и Кирилл шёл быстро, чтобы не отстать, и сбился, и начал снова.

Из палат пахло людьми. Не грязью — людьми: сном, тёплым бельём, лекарствами, дешёвым мылом. Из одной двери кто-то выглянул — пожилой мужчина в сером свитере, без зубов, — посмотрел на Кирилла, кивнул ему серьёзно, как знакомому, и спрятался.

Палата номер девять была в самом конце. Дальше коридор упирался в дверь, которая отличалась от всех остальных — она была обита железом, крашенным в тот же зелёный, и на ней висел амбарный замок. Из-под двери тянуло холодом. Кирилл почувствовал это щиколотками, через носки.

— Там чё? — спросил он.

— Старое крыло. Закрыто. — Гена толкнул дверь девятой палаты. — Заходи.

* * *

Комната была большая, больше, чем он думал, — почти квадратная, с потолком метра в четыре, и от этого четыре койки в ней казались маленькими, как лодки у причала. Окно одно, огромное, во всю ширину стены, с широким подоконником, за стеклом — решётка, за решёткой — сосны. Сосны стояли сразу за забором, близко, и на стекле было видно, как качаются их верхушки.

Звук он слышал раньше, чем увидел людей.

Тук-тук-тук. Тук.

Тот же ритм, что у котельной. Три удара — частые, сухие, металлом о металл, — пауза, такая, что успеваешь вдохнуть, и один удар, потяжелее. И снова.

На койке у окна, головой к батарее, лежал старик. Он лежал на боку, лицом к стене, подтянув колени, и правая рука его была вытянута к батарее. В руке была ложка — обычная алюминиевая столовая ложка, тусклая, с погнутым черенком. Ложка поднималась и падала. Тук-тук-тук. Тук. Ребро её било по рёбрам чугунной батареи, и звук уходил в батарею, в трубу, в стену, и где-то в глубине здания, как показалось Кириллу, затихал не сразу.

— Кузьмич, — сказал Гена, — новенький тебе.

Старик не обернулся. Ложка поднималась и падала.

На подоконнике сидел парень. Он сидел, обняв колени, босиком, спиной к раме, и смотрел не в окно, а в комнату — на дверь, на Кирилла. Ему было лет двадцать с чем-то. Худой, стриженный почти наголо, с оттопыренными ушами, с острым кадыком, который ходил вверх-вниз. Губы у него шевелились, беззвучно и быстро, как у человека, который молится или повторяет телефонный номер.

Третий лежал на койке у двери, слева. Пожилой, полный, лысый, с венчиком седых волос над ушами. Он лежал ничком, лицом в матрас, — не в подушку, подушка валялась на полу, а прямо в матрас, полосатый, серый, — и тоже шевелил губами, и Кирилл слышал шёпот. Слов разобрать было нельзя. Только интонацию: ровную, терпеливую, уговаривающую, какой говорят с маленьким ребёнком, который не хочет есть.

— Твоя, — сказал Гена и кивнул на свободную койку справа, у шкафа. — Бельё на ней. Обед прошёл, ужин в шесть, отбой в десять. Если чё — пост.

Он вышел. Дверь закрылась, мягко чмокнув, — у неё тоже не было ручки, только с этой стороны кто-то прибил к ней деревянную планку, за которую можно было тянуть.

Кирилл стоял посреди палаты с пакетом в руках. На него смотрел только парень на подоконнике.

— Здравствуйте, — сказал Кирилл.

Ложка поднялась и упала. Шёпот в матрас не прервался.

— Двадцать два, — сказал парень на подоконнике. — Вы сделали двадцать два шага от поста. Я слышал. Это много. Обычно двадцать три. Значит, вы шагаете широко. Значит, вам придётся... — Он замолчал, кадык дёрнулся, и он снова начал шевелить губами, беззвучно.

Кирилл подошёл к своей койке. Пять шагов. Сел. Пружины скрипнули и прогнулись. Матрас был старый, ватный, полосатый, как у лысого у двери, и на углу его, на бязевой бирке, кто-то вывел хлоркой цифры: «1967». Хлорка разъела ткань, и цифры были белые, рыжие по краям, и казались не написанными, а выжженными.

Шкаф стоял у изголовья, вплотную, — так близко, что если лечь, то до его стенки можно дотянуться рукой. Он был старый, тёмный, двустворчатый, с резными наличниками по верху, с бронзовыми ручками в виде колец. Лак на нём потрескался мелкой сеткой, как кожа на руках у старухи. Левая створка была закрыта не до конца — между ней и правой оставалась щель в палец шириной, и в щели было черно.

Кирилл посмотрел на щель и отвернулся.

* * *

День прошёл так, как проходят дни в поезде дальнего следования: долго и незаметно. Его водили на анализы — кровь из пальца, кровь из вены, кардиограмма в соседнем корпусе, куда шли через двор по расчищенной дорожке под конвоем другого санитаря, пожилого, молчаливого. Мороз стоял такой, что у Кирилла на ресницах выросли белые иглы за те две минуты, что они шли. Он моргал, и иглы кололи веки.

В столовой на ужин были макароны, серые, слипшиеся, и котлета, и кисель. Столовая — длинная комната с шестью столами под клеёнкой, на клеёнке нарисованы вишни. Кирилл

сидел за одним столом со своими. Так их назвала буфетчица — «девятая, ваши за тем столом» — и так он про себя их и назвал: свои.

Старик Кузьмич ел медленно, обстоятельно, и ел только с правой половины тарелки. Кирилл заметил это не сразу. Сначала просто увидел, что Кузьмич отодвинул котлету ложкой — ту же ложку, которой стучал, он принёс её с собой, — к левому краю, а потом съел макароны справа, аккуратно, до блеска выскребая тарелку, будто по ней проходила невидимая черта. Котлета осталась слева. Половина макарон осталась слева. Кузьмич положил ложку и сидел, глядя перед собой, и правая рука его постукивала по столу. Тук-тук-тук. Тук. Беззвучно, подушечками пальцев.

— Вы не будете? — спросил Кирилл, показывая на котлету.

Кузьмич посмотрел на него. Глаза у него были мутные, водянистые, но взгляд — тяжёлый, неподвижный.

— Не моё, — сказал он.

Парень, Толик, — его так позвала буфетчица, «Толик, сядь нормально», — не садился. Он стоял у стола, держа тарелку в руках, и ел стоя, и время от времени переступал на месте, и Кирилл видел, что он переступает не просто так: правой, левой, правой, левой, — и каждый раз губы его шевелились. Ноги у него были в толстых шерстяных носках. Тапок он не носил.

Лысый — Аркадий — ел только макароны и кисель. Котлету он отложил на салфетку, завернул салфетку конвертом и сунул в карман пижамы. Встретил взгляд Кирилла и улыбнулся — вежливо, чуть смущённо, как улыбаются в гостях, когда тебя поймали на том, что ты прячешь в салфетку невкусное.

— Белое, — сказал он. Голос у него был поставленный, чуть хрипловатый, учительский. — Только белое. Вы не обращайте внимания, молодой человек. У каждого из нас свой климат.

— Климат?

— Ну да. Климатический пояс. — Аркадий промокнул губы. — Я, видите ли, в прошлом географ. Профессиональная деформация. Вот у Петра Кузьмича — континентальный, резко континентальный, с суровыми зимами. А у Анатолия — муссонный, переменчивый. А у вас... — Он прищурился, разглядывая Кирилла. — У вас, по-моему, приполярный. Вечная мерзлота.

— Почему?

— Губы синие, — сказал Аркадий просто и встал из-за стола.

* * *

Отбой был в десять. В десять погасили верхний свет в палатах, и в коридоре тоже погасили, оставили только лампу на посту. Через стеклянную вставку двери Кирилл видел этот свет — жёлтый, мутный квадрат на стене напротив, — и в нём наискосок были видны часы над постом. Если лечь на левый бок, головой к шкафу, — часы видно. Если на правый — нет.

Он лёг на левый бок.

Простыня была грубая, крахмальная, пахла хлоркой и утюгом. Одеяло — шерстяное, колючее, в пододеяльнике, который ему был короток: ноги торчали. Подушка — комковатая. Сквозь матрас, сквозь вату, ощущались пружины, и одна из них — он нашёл её почти сразу — упиралась ему в бок, под рёбра, как палец.

Ночная медсестра заглянула в половине одиннадцатого. Он видел её в дверном стекле — силуэт, светлый халат, белая шапочка. Она открыла дверь, просунула голову, пересчитала их глазами — он видел, как она кивнула четыре раза, — и закрыла дверь. Потом он слышал, как она ходит по коридору, мягко, в тапках, — от двери к двери. Потом — как она садится за стол на посту. Потом — тихое звяканье ложки о кружку.

Тук-тук-тук. Тук.

Кузьмич стучал. Он не перестал стучать после отбоя — не перестал и не стал тише. Ложка падала на батарею с той же силой, с тем же сухим, металлическим звуком, ровно, неумоимо, как работает метроном. Сначала Кирилл ждал, что кто-нибудь скажет ему: «Хватит». Мед-

сестра. Соседи. Никто не сказал. Толик сидел на подоконнике, — Кирилл видел его силуэт на фоне окна, чёрный на тёмно-синем, — и не спал. Аркадий лежал ничком и шептал.

Кирилл считал удары. Сто. Двести. На трёхсот сорок втором — или трёхсот сорок третьем, он сбился — он понял, что не уснёт. Не потому, что мешал стук. Стук как раз не мешал. В нём было что-то правильное, как в тиканье часов, — он задавал ритм, он отмерял время. Мешало другое.

Мешал шёпот.

Аркадий шептал в матрас, и теперь, в темноте, в тишине между ударами ложки, Кирилл слышал его отчётливее. Слова были. Он их не разбирал, но они были — не бормотание, не бессвязный звук, а слова, и между ними паузы, и после пауз шёпот менял интонацию, будто Аркадий выслушивал кого-то и отвечал ему. Будто разговор. Будто там, внутри матраса, в серой, слежавшейся вате, был кто-то, кто тоже говорил, — только так тихо, что слышал его один Аркадий.

Кирилл задержал дыхание и слушал.

«...нет, сегодня нет... сегодня котлета... я знаю, что вы не... потерпите... я принесу... потерпите, Лидочка, ну что вы...»

Лидочка. Кирилл подумал о Лиде с работы, в пуховом платке, и мысль была такой нелепой, что он едва не засмеялся. И не засмеялся. Потому что в паузе после «ну что вы» матрас Аркадия скрипнул. Не так скрипит матрас, когда на нём ворочаются. Аркадий лежал неподвижно. Скрип шёл из середины, из-под его живота, — короткий, мягкий, будто там внутри кто-то повернулся на другой бок.

Тук-тук-тук. Тук.

Батарея была горячая. Кирилл чувствовал её тепло даже отсюда, через всю палату: от окна шла волна сухого жара, и в ней пахло пылью, которая пригорает на чугуне. Но со стороны шкафа тянуло холодом. Не сквозняком — сквозняк движется, а этот холод стоял на месте, ровный, тяжёлый, как вода в колодце. Он лежал вдоль его спины, от затылка до пяток. Кирилл натянул одеяло. Не помогло.

Часы над постом показывали без двадцати час.

Потом — два.

Потом — без пятнадцати три.

Медсестра больше не заглядывала. В коридоре было тихо. В одной из палат кто-то кашлял — долго, надсадно, с присвистом. Потом затих. Где-то внизу, глубоко, в подвале, с гулом заработало что-то большое — насос или мотор, — и пол едва ощутимо задрожал, и в стакане на тумбочке Аркадия звякнула ложечка. Потом гул стих.

Толик на подоконнике заговорил.

Он заговорил тихо, но не шёпотом, — нормальным голосом, ровным, как диктор, который читает прогноз погоды:

— Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать.

Кирилл повернул голову. Толик сидел, как сидел, — колени у груди, спина к раме. Но лицо его было обращено не в комнату, как днём. Он смотрел на шкаф.

— Девятнадцать, — сказал Толик. — Двадцать.

— Что ты считаешь? — спросил Кирилл шёпотом.

Толик не ответил.

— Двадцать один. Двадцать два.

Ложка Кузьмича стучала. Тук-тук-тук. Тук. Только теперь — Кирилл заметил это с запозданием — она стучала чаще. Пауза между тройкой и одиночным ударом стала короче. Ещё короче. Тук-тук-тук-тук. Будто старик торопился. Будто он хотел успеть что-то достучать, пока не поздно.

Шёпот Аркадия оборвался.

Не затих постепенно — оборвался, посреди слова, как обрывается радио, когда выдёргивают вилку. И матрас под ним больше не скрипел. В палате остались только ложка и Толиков счёт.

— Двадцать девять, — сказал Толик. — Тридцать.

Кирилл посмотрел на часы над постом. Три тридцать. Он начал понимать.

— Тридцать пять.

Холод от шкафа стал гуще. Кирилл чувствовал его теперь не спиной — лицом, потому что лежал к шкафу лицом, и холод тёк ему на щёки, на губы, на веки, и веки тяжелели, как тяжелеют на морозе. Дыхание его стало видно. Он не поверил, выдохнул ещё раз — медленно, через рот. Перед лицом поднялось и растаяло облачко пара. Тонкое, бледное, но — видное, в полутьме, в слабом свете из коридора.

На другом конце палаты, у батареи, было жарко. Здесь, у шкафа, — мороз.

— Тридцать восемь, — сказал Толик. — Тридцать девять.

Кирилл не стал смотреть на часы. Он смотрел на свою руку, лежащую поверх одеяла, — на отцовские часы, на зелёные светящиеся стрелки. Он видел, как минутная стрелка дрогнула и сдвинулась на одно деление.

Три сорок.

Толик замолчал.

Ложка Кузьмича ударила ещё раз — тук — и замерла. Не опустилась на батарею. Повисла. Кирилл видел краем глаза: рука старика застыла в воздухе, и ложка в ней поблёскивала, отражая свет из коридора, и не двигалась.

В палате стало тихо. Такой тишины Кирилл не слышал никогда. Не было слышно дыхания соседей — ни одного из трёх. Не было слышно гула в подвале, кашля в соседней палате, шагов на посту. Не было слышно батареи — а батарея всегда слышна, в ней всегда что-то течёт, булькает, потрескивает. Тишина была плотной, ватной, и в ней было только одно: его собственное сердце. Оно билось в ушах, в горле, в кончиках пальцев.

Скрипнуло.

Скрип был тихий, протяжный, на одной ноте — так скрипят старые петли, если открывать дверь очень медленно, чтобы никого не разбудить. Он шёл слева. Сверху. От изголовья.

Кирилл не двигался. Он лежал на боку, лицом к шкафу, и шкаф был прямо перед ним, в полуметре, — тёмная стена с резьбой и потрескавшимся лаком, и он мог бы закрыть глаза, и он не закрывал. Он смотрел на щель между створками. Щель была в палец шириной.

Теперь — в два пальца.

Створка отходила. Медленно, медленнее, чем двигается минутная стрелка, — но отходила, он видел это по тому, как менялась ширина чёрной полосы. Петля скрипела, и скрип тянулся без перерыва, без единого рывка, будто створку не толкали, а она сама поворачивалась на петлях — как поворачивается голова, когда кто-то долго сидел неподвижно, а теперь хочет посмотреть назад.

Из щели тянуло холодом. Теперь это был уже не тихий, стоячий холод. Он шёл струёй, Кирилл чувствовал его на губах, на ресницах, — и вместе с ним шёл запах. Запах был кухонный. Варёная капуста, та самая, что в приёмном покое, — но холодная, застывшая, как капуста в кастрюле, которую выставили на балкон на ночь. И под капустой — железо. Не ржавчина, не кровь — именно железо, холодное, чистое, как запах лопаты, которую принесли с мороза в дом.

Створка отошла на ладонь и остановилась.

Скрип оборвался.

В шкафу висели пальто.

Кирилл видел их — смутно, в отблеске коридорного света, который сюда почти не доставал. Тёмные, длинные, ватные. Четыре. Они висели на плечиках, рядом, плотно, плечом к плечу. Это были просто пальто — казённые, прогулочные, такие, в которых водят во двор, он

видел одно такое сегодня на санитаре, который вёл его на кардиограмму. Просто пальто на вешалках.

Но они висели неправильно.

Пальто на вешалке висит плоско. У него опадают плечи, западает грудь, рукава болтаются, как пустые. Эти — не опали. Плечи у них были круглые, полные, как у живых. Грудь — выпуклая. Рукава висели вдоль боков, и в рукавах была форма — локоть, запястье. И воротники стояли так, как стоят воротники на человеке, — облекая шею. Невидимую шею. Будто внутри каждого пальто стоял кто-то, кого не было видно, и стоял не шевелясь, вытянувшись, лицом к Кириллу.

Ближнее пальто — то, что висело с краю, у самой щели, — было ниже остальных. Намного ниже. Его подол почти касался дна шкафа, а воротник был на уровне Кириллова лица — лежащего лица. Будто тот, кто стоял внутри этого пальто, был ростом с ребёнка.

Или — сидел.

Кирилл перестал дышать.

Он смотрел на ближнее пальто. Пальто смотрело на него. Не было лица, не было глаз — только тёмная пустота над воротником, — но он чувствовал взгляд, как чувствуют на морозе прикосновение к щеке: не прикосновение даже, а холод, который становится плотнее.

Где-то в глубине шкафа, за пальто, в самой темноте, что-то шевельнулось. Не пальто — что-то за ними. Дальше. Глубже, чем мог быть глубокий этот шкаф.

Пальто на крайних плечиках качнулось. Едва-едва. Как от дыхания.

Кирилл зажмурился.

Он лежал с закрытыми глазами, и в темноте под веками стоял сосновый лес, и он слышал хруст наста — далеко, будто кто-то шёл к нему по снегу, не торопясь, раз, два, три, — и холод на лице, и запах капусты и железа. Он лежал и считал. Не шаги — он считал свои вдохи, чтобы не сбиться, не закричать. Один. Два. Двадцать. Сорок. На сорок четвёртом в темноте ударила ложка.

Тук.

Он открыл глаза.

Тук-тук-тук. Тук.

Кузьмич стучал. Ровно, как вначале, — три частых, пауза, один. Батарея отозвалась тихим гулом. В подвале снова заработал насос. В соседней палате кто-то закашлял. Из угла донёсся шёпот Аркадия — «...ну вот, ну вот, всё, всё, тихо, Лидочка...» Толик на подоконнике шевельнулся и сказал обычным голосом:

— Сорок один.

Кирилл посмотрел на шкаф.

Створка была приоткрыта на ладонь. Внутри висели пальто. Четыре казённых пальто на плечиках, плоские, с опавшими плечами и пустыми рукавами, — просто вещи, просто старое сукно и вата. Холод ушёл. Пахло пылью и хлоркой.

Он посмотрел на часы. Три пятьдесят две.

Двенадцать минут. Он пролежал с закрытыми глазами двенадцать минут, а думал — минуту. Может, две.

Он не стал закрывать шкаф. Он не мог заставить себя протянуть к нему руку. Он лежал, укрывшись с головой, в колючей шерсти, и до утра слушал, как стучит ложка, и считал удары, и в шесть, когда в коридоре включили свет и медсестра крикнула «подъём, девятая», насчитал одиннадцать тысяч двести.

Утром створка шкафа была закрыта. Не до конца — так, как вчера, на палец. Кирилл спросил Толика, не закрывал ли он шкаф ночью. Толик слез с подоконника на кровать, с кровати на тумбочку, с тумбочки — на порог, ни разу не коснувшись пола, повернулся к двери спиной и пошёл в коридор, считая вслух.

— Один. Два. Три.
На Кирилла он не посмотрел.

Глава 3. Директор

Елена Андреевна работала и в субботу.

Кирилл узнал это, когда в одиннадцать утра его вызвали в ординаторскую — комнату у поста, узкую, длинную, с одним окном, с тремя столами, поставленными впритык, и с вешалкой у двери, на которой висело одно-единственное пальто, тёмно-серое, драповое, с поднятым воротником. Пальто было старое и большое, мужское. Кирилл заметил его, потому что оно висело точно напротив входа и первое, что видишь, открыв дверь, — тёмная фигура с опущенными плечами, будто кто-то стоит в углу и ждёт, когда его заметят.

— Это дежурное, — сказала Елена Андреевна, проследив его взгляд. — Ничьё. Дежурные ночью накидывают, когда надо перебежать в другой корпус. Его тут, по-моему, со времён Брежнева носят. Садитесь.

Она расспрашивала его ещё полчаса — подробнее, чем вчера. Про работу. Про жену. Про то, сколько он спит, когда спит. Про то, что он ест. Про отца — когда умер, от чего. Про мать.

— Мать в Кочетово, — сказал он. — Это райцентр.

— Часто видите?

— Звоню.

— Как часто?

Он подумал.

— На праздники.

Она записала. Он видел, что она записала больше, чем он сказал.

— Как спали?

— Не спал.

— Совсем?

— Совсем.

— Что делали?

— Лежал. Считал.

— Что считали?

— Удары. — Он помолчал. — Пётр Кузьмич стучит ложкой.

— Да. — Она кивнула без удивления. — Это старая история. Он не мешает? Если мешает, можно перевести вас в другую палату, хотя мест немного.

— Не мешает.

Он сам удивился, как быстро ответил. Она тоже, кажется, удивилась — подняла глаза.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда так. Сегодня начинаем лечение. Утром одна таблетка, это антидепрессант, его эффект не сразу, через пару недель. Вечером другая — она поможет уснуть. Первые дни может быть вялость, сухость во рту. Если что-то странное — говорите сестре или мне. Я буду до вечера, завтра выходной, но в понедельник с утра здесь.

— Странное — это что?

— Всё, что вам покажется странным, — сказала она. — Вы сами поймёте.

* * *

День был белым. За окном палаты стоял мороз, сосны за забором были неподвижны, и небо было такого же цвета, что и снег, — сплошное, без солнца, без облаков. Свет в палате был ровный, бестеновой, как в операционной. В нём всё было видно слишком отчётливо: каждая трещинка в лаке на шкафу, каждое пятно на линолеуме, каждая морщина на шее Кузьмича.

Кузьмич стучал и днём — реже, без ночной неустойчивости, с перерывами на еду и на сон. Он засыпал на полчаса, на час, лёжа всё так же, лицом к батарее, с ложкой в руке. Когда он засыпал, рука его опускалась, и ложка ложилась на батарею, и так и лежала, и Кириллу

всякий раз казалось, что сейчас случится что-то, — но ничего не случилось. Потом Кузьмич просыпался, и рука поднималась сама, будто её тянули за ниточку, и снова — тук-тук-тук, тук.

Кирилл подошёл к нему после обеда.

— Пётр Кузьмич.

Старик лежал с открытыми глазами. Он не повернул головы, но Кирилл видел, что он слушает: ложка на мгновение остановилась.

— А почему вы стучите?

Ложка ударила — тук-тук-тук, тук, — и Кузьмич сказал, не оборачиваясь, хрипло, с той же паузой, что в ударах:

— Надо.

— Кому надо?

— Ему.

Он не сказал, кому. Кирилл подождал, потом спросил:

— А ночью, в три сорок, вы перестали. Почему?

Ложка не остановилась. Кузьмич молчал так долго, что Кирилл решил, что ответа не будет. Потом старик сказал, очень тихо, в батарею:

— Не мешать.

— Кому не мешать?

Тук-тук-тук. Тук. Кузьмич закрыл глаза.

Аркадий был разговорчивее. Он сидел на своей койке, по-турецки, в пижаме и вязаной кофте поверх, и читал толстую книгу без обложки, держа её на вытянутых руках, далеко от глаз, — очков у него не было, их, наверное, тоже отобрали. Когда Кирилл присел на край соседней койки, он заложил страницу пальцем и посмотрел поверх книги.

— Ну-с, коллега по вечной мерзлоте. Как спалось?

— Никак.

— Это нормально. Первая ночь — она как ледостав. Всё замерзает, ничего не движется. — Аркадий улыбнулся. — Потом вскроется.

— Аркадий Ильич, а что у нас в шкафу?

— В шкафу? — Аркадий поднял брови. — Пальто. Прогулочные. Казённое имущество, инвентарные номера на подкладке. На антресоли — всякая бумажная рухлядь, Нюра говорит, ещё из старой канцелярии, выбросить жалко, а сжечь некогда.

— А ночью?

— Что — ночью?

— Ночью он открылся.

Аркадий смотрел на него, не мигая. Глаза у него были светло-карие, умные, в сетке морщин. Потом он перевёл взгляд на шкаф — коротко, на долю секунды — и снова на Кирилла.

— Рассохся, — сказал он. — Петли старые. Здание старое, полы гуляют. Тут всё открывается, молодой человек, особенно когда не надо. — Он раскрыл книгу. — Вы знаете, что такое криосфера? Это все места на Земле, где вода находится в твёрдом состоянии. Ледники, вечная мерзлота, снежный покров, морской лёд. Вот почитайте, если интересно. Очень успокаивает. Особенно про Антарктиду. Там ничего не происходит миллионы лет, и это прекрасно.

Он протянул книгу. Кирилл взял. Это был старый учебник физической географии для педагогических вузов, тысяча девятьсот семьдесят восьмого года, с печатью какой-то библиотеки на форзаце. Кирилл открыл наугад и прочитал: «...при температуре ниже -40°C выделяемый пар мгновенно кристаллизуется и с характерным шорохом осыпается вниз; якутские охотники называют этот звук „шёпотом звёзд“...»

Он закрыл книгу.

Толик не разговаривал вовсе. Он днём слезал с подоконника, чтобы поесть и сходить в туалет, — каждый раз одинаково: с подоконника на кровать, с кровати на тумбочку, с тум-

бочки, вытянув ногу, — на порог, на железную полосу порога, и уже с порога в коридор, спиной вперёд. В коридоре он ступал на линолеум, и лицо его делалось сосредоточенным и несчастным, как у человека, который идёт по тонкому льду. Он считал. Кирилл, идя за ним в столовую, слышал: «...семнадцать, восемнадцать, девятнадцать...» и видел, как Толик на ходу оглядывается через плечо на каждом пятом шаге, — проверяет, куда идёт, — и снова отворачивается.

Возле поста Толик остановился, развернулся — лицом вперёд, — сказал «двадцать три» и пошёл в столовую уже нормально.

— Почему двадцать три? — спросил Кирилл. Не у Толика — просто вслух.

— Потому что от палаты до поста двадцать три, — сказал Толик, не оборачиваясь. — А дальше не считается.

После обеда в палату пришла санитарка мыть пол — маленькая сухая старуха в синем халате и в шерстяных носках поверх колготок, с ведром, от которого поднимался пар и разило хлоркой так, что щипало глаза. Она возила тряпкой на швабре широко, восьмёрками, под кроватями, вокруг ножек тумбочек, и бормотала себе под нос. У Кирилловой койки она остановилась, оперлась на швабру и посмотрела на него, потом на матрас, потом на шкаф.

— На эту, значит, положили, — сказала она. — Ну-ну.

— А что с ней?

— С ней-то ничего. — Старуха шмыгнула носом. — Койка как койка. Ты, милоч, только головой к шкафу не спи. Ногами спи. Так-то оно спокойнее.

— Почему?

— А потому. — Она снова взялась за швабру. — Я Анна Петровна, Нюра. Я тут сорок лет полы мою. Я много чего знаю. Потом расскажу, ты ещё не обжился.

Она домыла, выплеснула воду в коридоре в слив и ушла, шаркая. Кирилл посмотрел на свою подушку. Подушка лежала у изголовья, у шкафа. Он подумал, не переложить ли её в ноги, и не переложил. Это было бы глупо. Он взрослый человек, сметчик, ему тридцать четыре года.

Чтобы доказать себе, что это глупо, он открыл шкаф.

Был день, было светло, Аркадий читал, Кузьмич стучал, — и Кирилл встал, взялся за бронзовое кольцо и потянул левую створку. Она подалась легко, с коротким скрипом, совсем не таким, как ночью, — обычным, дневным, дверным. Внутри пахло нафталином и пылью. Четыре пальто висели на плечиках — тёмно-синие, ватные, казённые, с белыми инвентарными номерами на подкладке у воротника. Три — взрослых, одно — поменьше, в углу. Плечи у них были плоские, рукава болтались. Обычные пальто. Кирилл потрогал ближнее — сукно было колючим и холодным, как всё, что долго висит у наружной стены.

Он поднял глаза.

Над перекладиной была антресоль — широкая полка под самым верхом шкафа, за отдельными маленькими дверцами. Одна дверца не закрывалась — висела на одной петле. За ней лежали книги. Не книги — конторские книги, большие, толстые, в тёмных коленкорových переплётках, с потёртыми углами, с наклеенными на корешки бумажными ярлыками. Стопкой, перевязанной бечёвкой. Шесть? Семь? Кирилл не стал считать. На ярлыке верхней выцветшими чернилами было написано: «Учёт мягк. инв. 1976–78». Рядом со стопкой стояла картонная коробка из-под обуви, без крышки, и в ней — хлам: огрызки карандашей, скрепки, сло-манный дырокол, пузырёк с засохшими фиолетовыми чернилами, какая-то ручка с золотым ободком на колпачке.

— Это Нюрино хозяйство, — сказал Аркадий со своей койки, не поднимая глаз от книги. — Старая канцелярия. Выбросить жалко, а сжечь некогда. Закройте, Кирилл Андреевич, там пыль — у меня от неё насморк.

Кирилл закрыл. Левая створка не дошла до конца — остановилась, оставив щель в палец шириной. Он толкнул её ещё раз. Она вернулась на палец.

Он сел на койку. Посмотрел на щель. Днём в ней было просто темно — так, как темно бывает в любом шкафу.

* * *

В три часа была прогулка.

Их выводили во двор — тех, кому разрешено, — на полчаса, по расчищенной дорожке вдоль корпуса. Перед прогулкой санитар — не Гена, пожилой, молчаливый — открыл шкаф в девятой и раздал пальто. Казённые, ватные, тёмно-синие. Кириллу досталось крайнее, у правой стенки. Оно было велико в плечах и пахло нафталином, табаком и чужим потом — застарелым, вьёвшимся в ватин, как въедается запах в старые подушки. На подкладке у воротника белела надпись хлоркой: инвентарный номер и «3 отд.».

Кузьмич пошёл. Медленно, шаркая, в пальто до щиколоток, с ложкой в кулаке. Аркадий пошёл — в пальто поверх вязаной кофты, с полотенцем на шее вместо шарфа. Толик не пошёл. Толик сидел на подоконнике и смотрел, как они одеваются, и шевелил губами. Санитар его не звал. Маленькое пальто в углу шкафа осталось висеть.

Во дворе было тихо и бело. Мороз схватил лицо, едва Кирилл вышел на крыльцо, — сразу, целиком, как хватают рукой. Дорожка шла вдоль корпуса, потом поворачивала за угол — к задворкам, к низкой пристройке с трубой. Они шли гуськом: санитар впереди, за ним — человек десять в одинаковых тёмно-синих пальто, сутулых, с поднятыми воротниками. Кирилл шёл и думал, что сверху, с крыши, они, наверное, похожи на вереницу ворон на снегу.

За углом, у пристройки, дорожка кончалась. Дальше был снег — нетронутый, по колено, — и забор. Чугунный, из прутьев с пиками. За забором — сосны, сразу, без перехода. Чёрные внизу, рыжие вверх.

У самой пристройки, вплотную к забору, росла сосна — старая, толстая, в два обхвата. Корни её выперли из земли и выгнули два прута наружу — сильно, так, что между ними образовалась щель. Кто-то когда-то отогнул их ещё сильнее. Щель была в ширину плеч.

Кирилл смотрел на неё. Он не знал, почему смотрит.

— Дыра, — сказал рядом Аркадий. Тихо. — Все знают. Лет двадцать как. Палыч через неё в Лесное за водкой бегают, срезает. Начальство знает. Никто не чинит. — Он помолчал. — А куда тут бежать, Кирилл Андреевич? Тут кругом лес. Сорок километров на север — ничего. Мороз. Кто сюда бежать будет — тот уже не жилец.

Кузьмич стоял у пристройки и слушал. Не их — пристройку. Он стоял, прижавшись ухом к кирпичной стене, и лицо у него было сосредоточенным, как у врача со стетоскопом. Из трубы над ним шёл дым — жёлтый, густой.

— Гудит, — сказал Кузьмич. Удовлетворённо. — Живой.

Санитар крикнул: «Назад!» — и вереница ворон повернула к крыльцу.

Кирилл обернулся на дыру. Один раз. Щель между прутьями была тёмной на белом. Как щель между створками шкафа.

Ночная медсестра пришла к семи вечера.

Кирилл увидел её, когда возвращался из туалета. Она стояла у поста, ещё в куртке и вязаной шапке, румяная с мороза, и разговаривала с дневной сестрой — та уже собиралась домой. Полная, невысокая, лет сорока пяти, с круглым добрым лицом и маленькими руками. В руках у неё была сумка — вязаная, зелёная, большая, туго набитая. И от сумки пахло.

Пахло мандаринами.

Запах был такой сильный, такой праздничный и неуместный в этом коридоре, где пахло хлоркой и капустой, что Кирилл остановился. Он стоял у стены и дышал. Мандарины пахли кожурой — горьковатым, маслянистым, острым, — и мандариновым соком, и морозом, потому что их только что внесли с улицы, и под этим — шерстью зелёной сумки. Так пахло в детстве в новогоднюю ночь, когда дедушка приносил с базара целую сетку, и они...

Они.

Мысль упёрлась в это слово и остановилась.

— ...на Новый год, детям, — говорила медсестра дневной. — Дениска только мандарины и признаёт. Маша-то уже большая, ей подавай что-то модное, а Дениска — мандарины. Я на рынке взяла, абхазские, вон какие. Три кило. Пусть лежат у нас в сестринской, там прохладно. Мне завтра после смены ещё по магазинам, не таскаться же.

— Смотри, утащат, — сказала дневная.

— Кто? — Ночная засмеялась. — Мои-то? Они же не ходят никуда.

Она заметила Кирилла и улыбнулась ему.

— Вы новенький? Девятая палата? Савельев? Я Валя. Валентина Сергеевна, но все Валеи зовут. Вы чего у стенки стоите, вам плохо?

— Нет. Мандарины, — сказал он. — Пахнут.

— А то! — Она подняла сумку, показала. Сквозь крупную вязку проглядывали оранжевые бока. — Хотите один?

— Нет, — сказал он. — Спасибо. Нет.

Он сам не знал, почему отказался. Он хотел. Он хотел так, что сводило скулы, но — нет, сказал он и пошёл в палату, и запах шёл за ним до самой двери.

* * *

В восемь он попросил у Вали разрешения позвонить. Она пустила — «пять минут, Савельев, не больше», — и он набрал Ольгу с бежевого телефона с диском. Диск возвращался медленно, с жужжанием, и он считал щелчки.

Ольга взяла не сразу.

— Да? — Голос настороженный: незнакомый номер.

— Это я.

Пауза.

— Кирилл. — Голос изменился. Он не понял как. — Ты как?

— Нормально. Положили. В третье. Там ремонт, в санаторном. Врач хорошая.

— Ты спал?

— Нет ещё. Сегодня таблетку дадут.

Пауза. Он слышал в трубке телевизор — у них в зале, на тумбочке, — и звяканье посуды. Ольга мыла чашки. Он видел это — как будто стоял там: её спину, её руки в мыльной пене, её телефон, зажатый между плечом и ухом.

— Тут соседи, — сказал он. — Трое. Один стучит ложкой по батарее. Всю ночь.

— Господи. — Ольга перестала мыть. — Попроси перевести.

— Не надо. Мне нравится.

— Что?

— Ничего. — Он сам не понял, зачем сказал. — Я привык. Он ритмично стучит. Как часы.

Пауза. Долгая.

— Кирилл, ты... ты сам на себя не похож.

— Устал.

— Да. — Она помолчала. — Спи. Ладно? Просто спи. Я в воскресенье приеду.

— Хорошо.

Она не сказала «целую». Он не сказал «пока». Они помолчали ещё секунд десять, слушая дыхание друг друга, — и он повесил трубку. Валя смотрела на него с поста. Он кивнул ей. Пошёл в палату.

Он не вспомнил потом, о чём хотел сказать ей. Он помнил только, что хотел. Что-то про лес.

В девять ему принесли таблетку. Валя принесла — в маленьком пластиковом стаканчике, вместе со стаканчиком воды, — и стояла рядом, пока он не выпил, и попросила показать язык.

Он показал. Она кивнула и ушла. Таблетка была маленькая, розовая. Он почувствовал её через полчаса: сначала в коленях — тяжесть, как после долгой ходьбы, — потом в веках, потом в голове. Мысли стали медленными и круглыми, как мокрые камни, они перекатывались и не цеплялись друг за друга.

Он уснул в десять — впервые за много месяцев не провалился, не забылся, а просто уснул, как засыпают в детстве: был свет, потом не стало.

Он проснулся в три сорок.

Он знал, что в три сорок, раньше, чем посмотрел на часы. Он знал это всем телом — так знаешь, что в комнате кто-то есть, ещё не открыв глаз. Сна не было. Леса не было, костра не было, фигур не было, — ничего, чёрная яма без снов, из которой его вынуло, как ведро из колодца. Но он проснулся. В три сорок.

Он лежал на левом боку, лицом к шкафу.

Часы над постом в коридоре показывали три сорок. Отцовские часы на запястье — три сорок. Он смотрел на них и чувствовал, как тяжело его тело, как будто его залили изнутри чем-то тёплым и вязким, — руки, ноги, язык. Таблетка ещё держала его. Он мог бы закрыть глаза и снова уйти в ту чёрную яму. Он хотел.

Кузьмич не стучал.

Толик не считал.

Аркадий не шептал.

Тишина была та же, что прошлой ночью, — плотная, ватная, без единого звука, кроме сердца. Только сейчас сердце билось медленно, тяжело, лениво: таблетка. Ему было почти не страшно. Он лежал и смотрел на шкаф, и ему было любопытно, как бывает любопытно во сне, когда понимаешь, что спишь, и решаешь посмотреть, что будет.

Створка скрипнула.

Тот же скрип — протяжный, на одной ноте. Та же медленность. Чёрная щель расширялась, и из неё шёл холод, и в холоде — капуста и железо. Кирилл смотрел. Пальто внутри стояли на плечиках, круглые в плечах, полные в груди, с поднятыми воротниками, — четыре тёмных силуэта плечом к плечу. Ближнее — маленькое, низкое. Створка открывалась.

Она открылась шире, чем прошлой ночью. На ладонь, потом на две, потом на полруки. Она открылась совсем, до упора, и тихо стукнулась о стенку шкафа, и петля замолчала.

Пальто в шкафу шевельнулись.

Они расходились. Не падали, не качались — они разъезжались на плечиках, медленно, к стенкам, крайние — влево и вправо, средние — за ними, и вешалки скользили по перекладине с тонким металлическим шорохом, как будто их раздвигала невидимая рука. Ближнее, маленькое пальто ушло в угол и повисло там, отвернувшись. Между пальто открылся проход. Тёмный. Глубокий. Глубже, чем мог быть шкаф.

В проходе кто-то стоял.

Кирилл видел сначала только тень — высокую, плотнее темноты. Потом тень шагнула вперёд. Не шагнула — выдвинулась, без звука, без скрипа половиц в шкафу, — и в свет, в бледный, мутный, жёлтый свет из коридорной двери, вошёл человек.

Он был высокий. Очень высокий — ему пришлось наклонить голову, выходя из шкафа, и он наклонил её плавно, будто кланялся. Он был в пальто. Длинном, тёмно-сером, драповом, с поднятым воротником, застёгнутом на все пуговицы. Под пальто — тёмные брюки, тёмные ботинки, начищенные, — Кирилл видел, как на носках ботинок блеснул свет. Руки — в карманах.

Лица не было видно.

Лицо было там. Кирилл видел, где оно — над воротником, — видел форму головы, тёмные волосы, зачёсанные назад, видел очертание скулы, подбородка. Но на лице лежала тень. Ровная, плотная, как будто кто-то держал над ним руку, заслоняя от лампы. Свет из коридора

падал на пальто, на плечи, на пуговицы — а на лицо не падал. Он обходил лицо, как вода обходит камень.

Человек выпрямился. Он стоял между шкафом и Кирилловой койкой, в полуметре от изголовья, и смотрел вниз. На Кирилла.

Запах капусты и железа стал таким сильным, что у Кирилла заслезились глаза.

— Доброй ночи, коллега, — сказал человек.

Голос был негромкий, глубокий, чуть хрипловатый. Медленный. Каждое слово он произносил отдельно, будто клал на стол — аккуратно, в ряд, как раскладывают инструменты перед работой. В голосе не было угрозы. Было что-то другое — вежливость, усталая и бесконечная, вежливость человека, который много лет принимает посетителей и ни разу никого не выставил за дверь.

Кирилл не ответил. Он не мог. Язык лежал во рту тяжёлый, как мокрая тряпка.

— Не нужно вставать, — сказал человек. — И отвечать не нужно, если не хочется. Я понимаю. Час поздний, вас накормили этим розовым, это всегда утомительно в первую ночь. Я ненадолго.

Он вынул правую руку из кармана. Рука была в перчатке — тонкой, кожаной, тёмной, — и в руке была книга.

Кирилл не заметил, откуда она взялась. Он видел, как рука пошла к карману пустой, и вынулась уже с книгой: большой, толстой, в тёмном коленкоровом переплёте, с потёртыми углами, — такие книги он видел в детстве в бухгалтерии у матери на работе, в них писали от руки, в них были разлинованные графы. Конторская книга. Человек раскрыл её, держа на весу на левой ладони, — раскрыл ровно посередине, будто там была закладка, — и из нагрудного кармана пальто вынул ручку. Перьевую, тёмную, с золотым ободком на колпачке. Снял колпачок зубами — нет, Кирилл не видел зубов; колпачок просто оказался у него в пальцах, — и занёс перо над страницей.

— Вы, конечно, хотите знать, кто я, — сказал он. — Это разумно. Я бы тоже хотел. Я здесь главный, коллега.

Он помолчал.

— Тот, в холле, только портрет. Вы видели его лицо?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.